

ВЫШЕ — ЛИНИИ — ФРОНТА



Деханов Андрей

Андрей Деханов

Выше линии фронта

«Автор»

2026

Деханов А.

Выше линии фронта / А. Деханов — «Автор», 2026

Июль 1941 года. Лётчик Василий Исаев сбит в воздушном бою. Мотор глохнет, парашют не раскрывается — и на грани смерти он вспоминает то, что знал с детских снов. А именно — летать. Так он становится самым страшным оружием против немцев. Тем, кого они не могут ни понять, ни поймать, ни остановить.

© Деханов А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Пролог	5
Глава 2. Ельник	8
Глава 3. Сторожка	10
Глава 4. Тишина	13
Глава 5. Разговор	16
Глава 6. Крыша	18
Глава 7. Тень	20
Глава 8. Небо	23
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Андрей Деханов

Выше линии фронта

Глава 1. Пролог

Июль 1941 года. Западный фронт.

Утро началось с грохота. Немцы бомбили аэродром третий день подряд, и лётчики уже не спали в казармах — спали в щелях, вырытых у самой кромки поля, подальше от капониров. Василий лежал на спине, смотрел в низкое серое небо и слушал, как где-то за лесом гудит, тянется, нарастает чужой мотор.

— Опять идут, — сказал кто-то рядом.

Он не ответил. Считал. Один, два, три... шесть. Шесть «юнкерсов». Значит, будет горячо.

Потом была команда. Потом он бежал к своему «ишачку» — И-16, старенькому, латаному-перелатаному, с заплатками на фюзеляже и мотором, который давно просил капитального ремонта. Механик, Серёга, помог забраться в кабину, хлопнул по борту:

— Давай, Вась. Только вернись.

— Вернусь, — сказал Василий, хотя не верил.

Они взлетели втроем. Втроем против шести. Уже на разгоне, когда земля побежала под крылом и начала проваливаться, он почувствовал знакомое: лёгкость, звенящую пустоту в животе, будто тело на секунду вспомнило что-то своё, давнее. Но думать было некогда.

В воздухе стало тесно и жарко. Трассы, развороты, рёв моторов, чёрные хлопья зенитных разрывов. Первый «юнкерс» шёл ровно, уверенно, как хозяин. Василий зашёл ему в хвост, поймал в прицел, нажал гашетку — «юнкерс» дёрнулся, потянул дым и пошёл вниз, оставляя за собой чёрный хвост. Он успел увидеть, как падает второй — не его, чей-то ещё. И на секунду подумал: может, и выкарабкаемся.

А потом ударило.

Сначала — тишина. Он не сразу понял, что мотор заглох: просто звук пропал, и стало слышно, как свистит воздух по обшивке. Лопасты винта замерли. «Ишачок» дёрнулся, клюнул носом и начал валиться на крыло.

— Нет, нет, нет, — забормотал Василий, хватаясь за рычаг. — Только не сейчас. Не сейчас, слышишь?

Он рванул сектор газа. Мотор не отозвался. Мёртвый, тяжёлый, он молчал, и от этого молчания в кабине стало по-настоящему страшно.

— Давай, родной, — он крутил стартер, дёргал тумблеры, жал на всё сразу, как будто это могло помочь. — Ну же! Ну!

Ничего. Винт застыл, как вкопанный. Самолёт валился на крыло, и земля в лобовом стекле накренилась, росла, шла навстречу — серая, чужая, страшная.

Он бил по приборам кулаком. Бил по переключателям, по панели, по мёртвым циферблатам, которые не двигались, не мигали, не отвечали.

— Работай! Работай, мать твою!

Пальцы скользили. Он рвал рычаг, давил на педали, пытался выровнять машину — но она не слушалась, она падала, и всё внутри падало вместе с ней. В горле стало сухо. В висках стучало. Он дёргал, жал, крутил — и уже понимал, что это бесполезно, что мотор не запустится, что это конец, но руки всё равно тянулись к тумблерам, всё равно искали, хватали, жали.

— Ну! — крикнул он в пустую кабину. — Ну!!!

Тишина. Только свист воздуха. Только тёмная земля, которая неслась навстречу, как поезд.

Земля была уже близко. Слишком близко. Он видел её через стекло — серую, в пятнах, с чёрными полосами дорог, и она росла, росла, и в ней уже можно было разглядеть отдельные деревья, крыши, что-то ещё. Он смотрел на неё и не мог оторваться. Как будто она держала его взглядом. Как будто говорила: поздно.

Поздно.

Он рванул ремень. Кожаный, тугой, он не поддался сразу — пальцы сорвались, он рванул снова, ещё раз, ещё, и наконец ремень лопнул, и тело качнулось вперёд, к приборной панели. Он оттолкнулся. Коленом, локтем, всем, чем мог. Фонарь кабины был заклинен — его заело ещё на взлёте, Серёга говорил, что надо починить, да не успели. Василий рванул ручку фонаря. Не поддалась. Рванул ещё. Ещё.

— Давай! Давай же!

Ручка хрустнула, фонарь дёрнулся и пошёл в сторону — тяжело, медленно, как всё в этом самолёте. В кабину ударил ветер. Рёв, свист, холод — всё сразу. Василий вцепился в борт, подтянулся, вывалился наружу — и полетел.

Не вниз. В сторону. Ветер ударил в грудь, в лицо, и на секунду ему показалось, что он всё-таки не падает. Что тело само знает, что делать. Что он летит.

Потом самолёт ушёл вниз, под ним, чёрный и мёртвый, и он остался в воздухе один — маленький, лёгкий, без мотора, без крыльев.

Он рванул кольцо.

Ничего. Пальцы сорвались, он рванул снова — и снова ничего. Вытяжное кольцо осталось в руке, лёгкое, бесполезное, а парашют не раскрылся. Не дёрнулся, не хлопнул, не рванул его вверх. Просто молчал — как мотор. Как всё в этот день.

— Нет, — сказал он. — Нет, нет, нет.

Он дёргал. Дёргал ещё и ещё. Тянул за стропы, рвал за клапан, бил по ранцу кулаком — как бил по приборам в кабине. Руки скользили. Пальцы не слушались. Он дёргал, дёргал, дёргал — и уже понимал, что это бесполезно, что парашют не откроется, что это конец, но руки всё равно тянулись, всё равно искали, хватали, жали.

И даже если бы открылся — земля была слишком близко. Он знал это. Видел, как она растёт под ним, как приближаются пятна полей, крыши, деревья. Купол не успел бы надуться. Стropы не успели бы натянуться. Он бы всё равно упал — только медленнее.

Он дёргал, дёргал, дёргал.

Земля шла навстречу. Быстро. Слишком быстро. Тёмная, в пятнах полей, похожая на карту, которую он видел в штабе. Где-то там, внизу, были немцы. Где-то там были свои. Он уже не успевал никуда.

Вот и всё, — подумал он. — Вот и всё, Василий Исаев.

Он закрыл глаза.

Ему было пять лет. Он лежал на печи, укрытый тулупом, и за окном была гроза. Он не мог уснуть — боялся грома. И тогда он представил, что летит. Просто встал и полетел — над деревней, над рекой, над лесом. Ветер был тёплый, ласковый, и грома не было слышно. Он летел, и ему было не страшно.

Он летел.

Он и сейчас летел.

Странно, но страха не было. Было только это тёплое чувство из детства — когда ты не падаешь, а летишь. Он вспомнил, как это делается. Вспомнил всем телом — плечами, спиной, руками. Как будто и не разучился.

Он открыл глаза.

До земли оставалось меньше тридцати метров. Он не падал. Он летел — вперёд, над полем, над дорогой, к лесу. Тихо. Без мотора. Без винта. Просто — летел.

Не может быть, — мелькнуло в голове. — Так не бывает.

Он нёсся над самыми макушками деревьев. Сосны, ели, берёзы — они проносились внизу, чёрные, резкие, и от этого почему-то стало страшно.

Страшно не от высоты. От того, что это правда. Что он летит. Что так бывает.

И в тот же миг что-то внутри оборвалось. Тело, которое только что знало, как летать, вдруг разучилось. Ветер ударил в лицо, в грудь, в живот. Его крутануло, понесло вниз, и он рухнул в колючий, пахнувший смолой и прелью ельник.

Удар. Хруст. Темнота...

Глава 2. Ельник

Он не сразу понял, что жив.

Первое, что пришло, — запах. Смола, прель, что-то кислое и тёплое, похожее на кровь. Потом — холод. Не зимний, а сырой, лесной, который забирается под гимнастёрку и лежит там, как мокрый камень.

Потом — боль. Она была везде. В груди, когда он попробовал вдохнуть, — острая, как гвоздь. В боку — тянущая, глухая. В правой руке — глухая, далёкая, будто рука была не его, а чья-то чужая, пристёгнутая сбоку.

Он открыл глаза.

Над ним были ветки. Много веток. Чёрные, мокрые, они качались, и сквозь них проглядывало небо — серое, низкое, чужое. Он долго смотрел на это небо, не понимая, почему оно такое. Потом вспомнил: кабина, мотор, тишина. Потом земля, которая шла навстречу. Потом — полёт.

Он попробовал сесть. Боль рванула в груди, и он застонал — коротко, сквозь зубы, как учили. Тело не слушалось. Оно было тяжёлым, чужим, будто мешок с песком, который кто-то бросил в ельник и ушёл.

Он лежал на боку, среди молодых ёлок. Одна ветка торчала у самого лица, пахла смолой и царапала щёку. Он хотел отвести её рукой — и не смог. Правая рука не поднялась. Он посмотрел на неё. Рука лежала на земле, вывернутая, в крови, и было видно что-то белое, острое, выглядывавшее из-под кожи у локтя.

Он отвернулся. Посмотрел в другую сторону.

Между стволами — ничего. Только ёлки. Только мокрые ветки. Только серое небо в просветах. И тишина.

Не может быть, — подумал он. — Так не бывает.

Он закрыл глаза. Попробовал дышать. Мелко, часто — как учили. Кто-то учил. Кто-то говорил: «Дыши мелко. Не глубоко». Он не помнил кто. Может, Серёга. Может, кто-то другой. Серёга остался на аэродроме. Серёга хлопнул по борту и сказал: «Только вернись».

Он вернулся. Только не так, как надо.

Он лежал и слушал. Лес был тихий. Не мёртвый — просто тихий. Где-то далеко стучал дятел. Потом перестал. Потом снова. И от этого стука стало страшно — не от боли, а от того, что мир шёл дальше, как будто ничего не случилось. Как будто он, Василий Исаев, не падал с неба. Как будто он вообще не существовал.

Он попробовал позвать. Голос вышел хриплый, слабый, не его:

— Эй...

Никто не ответил. Лес молчал. Дятел стучал. Ветка качалась перед лицом.

Он лежал так, наверное, долго. Может, час, может, два. Небо над ним не менялось — всё такое же серое, низкое. Он то проваливался в темноту, то выныривал. И каждый раз, выныривая, думал: всё ещё здесь. Всё ещё жив. И не понимал, радоваться этому или нет.

Потом он услышал шаги.

Не звериные. Тяжёлые, неторопливые, с хрустом. Кто-то шёл по лесу — уверенно, как ходят у себя дома. Шаги приближались. Василий повернул голову — медленно, потому что каждое движение отдавалось в груди гвоздём.

Между деревьями показался человек.

Старик. Нет, не старик — просто немолодой. В телогрейке, в сапогах, с ружьём за плечом. Лицо тёмное, обветренное, в морщинах. Он шёл ровно, смотрел под ноги, и, кажется, не видел Василия.

Василий хотел крикнуть. Хотел поднять руку. Но голос не шёл, а рука не слушалась. Он только смотрел — и в какой-то момент человек остановился. Поднял голову. Посмотрел прямо на него.

Они смотрели друг на друга, наверное, секунду. Может, две. Потом человек подошёл. Молча. Близко. Опустился на корточки. Посмотрел на руку, на грудь, на лицо. Глаза у него были светлые, спокойные — как у человека, который уже видел всё, что можно увидеть.

— Лётчик? — спросил он.

Василий не ответил. Не мог.

Человек не стал ждать. Он встал, снял с плеча ружьё, прислонил к дереву. Потом наклонился, подsunул руки под Василия — одну под спину, другую под колени. Василий застонал.

— Терпи, — сказал человек. — Терпи, парень.

Он поднял его. Василий оказался у него на руках — лёгкий, как будто внутри ничего не осталось, только боль и холод. Человек держал его уверенно, как держат ребёнка или мешок с зерном. И понёс.

Лес качался перед глазами. Ветки хлестали по лицу. Человек шёл молча, дышал ровно, только иногда перехватывал Василия удобнее. Василий смотрел на его шею — тёмную, морщинистую, — и почему-то думал: кто ты? Откуда? Почему не спросил, кто я?

Потом он перестал думать. Темнота пришла мягко, как одеяло. Он закрыл глаза — и провалился.

Глава 3. Сторожка

Он приходил в себя урывками.

Первый раз — на чём-то твёрдом. Не земля. Доски. Пахло дымом и сушёной рыбой. Он хотел открыть глаза, но веки были тяжёлые, как свинец. Он слышал треск — огонь в печи. Слышал, как кто-то ходит рядом. Медленно, тяжело. Потом — скрип двери. Потом — тишина.

Второй раз — от боли. Кто-то трогал его руку. Не грубо, но уверенно. Пальцы ощупывали, давили, поворачивали. Василий застонал и попробовал отвести руку.

— Лежи, — сказал голос. Низкий, спокойный. — Лежи, не дёргайся.

Он открыл глаза.

Потолок. Тёмные брёвна, в щелях — мох. Прямо над лицом — лампа. Керосиновая, с закопчённым стеклом. Свет жёлтый, тусклый, дрожит.

Он повернул голову. Над ним стоял тот самый человек. Лесник. В телогрейке, с закатанными рукавами. Руки у него были большие, тёмные, в трещинах. Он держал Василия за правую руку — ту, что была вывернута, — и вправлял что-то у локтя.

— Терпи, — сказал он, не глядя на Василия.

Василий закусил губу. Боль была белая, острая, она шла от локтя вверх, в плечо, в шею. Он хотел закричать, но вместо этого только выдохнул — длинно, сквозь зубы.

— Хорошо, — сказал лесник. — Хорошо. Уже почти.

Он что-то дёрнул. Василий вскрикнул — коротко, не сдержался. И сразу стало легче. Боль не ушла, но стала другой — глухой, тупой, терпимой. Рука лежала на столе, на чистой тряпке. Теперь она была не вывернута. Просто лежала.

— Перелом, — сказал лесник. — Двойной. И вывих. Кость я свёл. Заживёт.

Он отошёл, вернулся с ковшом. В ковше — вода. Тёмная, с запахом коры.

— Пей.

Василий попробовал приподняться. Боль рванула в груди — рёбра. Он застонал и откинулся назад.

— Рёбра тоже, — сказал лесник. — Два. Может, три. Не дыши глубоко.

— Я... — Василий сглотнул. Голос был чужой, хриплый. — Я где?

— У меня.

Лесник поднёс ковш к его губам. Василий сделал глоток. Горько. Отвар. Он хотел ещё, но лесник убрал ковш.

— Потом. Сначала поспи.

— Подожди... — Василий попробовал повернуться, посмотреть на него. — Ты кто?

Лесник посмотрел на него. Светлые глаза, спокойные. Он долго молчал. Потом сказал:

— Егор Михайлович.

И вышел. Скрипнула дверь. Василий остался один.

Он лежал и смотрел в потолок. Потолок был тёмный, в щелях мох. Где-то капало. Пахло дымом, рыбой и чем-то ещё — травами, сухими, пыльными. Он хотел подумать, где он, что с ним, что было, но мысли расползались. Боль тянула из руки, из груди, из бока. Он закрыл глаза — и провалился.

Дальше были дни, которые он не помнил.

Он приходил в себя ночью, от жара. Или утром, от холода. Кто-то поил его. Кто-то менял тряпки на руке. Кто-то говорил: «Пей. Терпи. Спи». Он не понимал, кто. Он был где-то между сном и явью, и в этом месте всё было перепутано.

Ему снился мотор. Мёртвый, молчащий, тяжёлый. Он крутил стартер, дёргал тумблеры, бил по приборам, а мотор молчал. И тогда он рвал кольцо. Дёргал, дёргал, дёргал — и парашют не открывался. И земля шла навстречу. Быстро. Слишком быстро.

Он просыпался в поту. Лежал, смотрел в тёмный потолок, слушал, как потрескивает печь. И снова засыпал.

Один раз он услышал голос. Не рядом — далеко. Лесник говорил с кем-то. Может, с собой. Может, с печкой.

— ...двое на льду остались, — сказал голос. — Тоже кричали. Потом перестали.

Василий не понял, о чём это. Но голос был такой, что он не стал спрашивать. Он просто лежал и слушал, как трещит печь. И засыпал.

На третий день — или на четвёртый, он не знал — он очнулся по-настоящему.

Было утро. Светлое, тихое. За окном — маленьким, в две ладони — виднелись ёлки. Мокрые, чёрные. Дождь. Он лежал на кровати — узкой, деревянной, с сеном вместо матраса. Укрыт тулупом. Правая рука лежала на груди, в чистой тряпке, прибинтована к телу. Рёбра туго обмотаны. Дышать было больно, но терпимо.

В комнате никого не было.

Он осмотрелся. Сторожка была маленькая. Одна комната. Печь, стол, лавка, кровать. На стене — ружьё. На столе — кружка, ложка, кусок хлеба. В углу — икона. Тёмная, без оклада.

Дверь скрипнула. Вошёл лесник. В руках — ведро. Он поставил его у печи, посмотрел на Василия.

— Очнулся, — сказал он. Не спросил — сказал.

— Очнулся, — ответил Василий.

Лесник подошёл. Посмотрел на руку, на лицо. Приложил ладонь ко лбу — тёплую, шершавую.

— Жара нет, — сказал он. — Хорошо.

Он сел на лавку. Долго молчал. Смотрел в пол. Потом поднял глаза.

— Ты кто будешь?

Василий слотнул. Во рту было сухо.

— Лётчик. Младший лейтенант Исаев. Василий.

Лесник кивнул. Как будто ждал этого. Как будто всё уже знал.

— Егор Михайлович, — сказал он. — Лесник. Тут живу.

Он встал, взял со стола кружку, налил из ведра. Вода была чистая, холодная. Он поднёс кружку к губам Василия. Василий пил — жадно, долго. Вода шла по подбородку, на шею, на грудь. Ему было всё равно.

— Спасибо, — сказал он, когда напился.

Егор Михайлович не ответил. Он поставил кружку на стол и снова сел. Смотрел на Василия. Молчал.

Василий тоже молчал. Он не знал, что говорить. Он не знал, что будет дальше. Он лежал в чужой сторожке, в чужом лесу, с переломанной рукой и сломанными рёбрами, и где-то там, за этими ёлками, была война. Немцы. Свой. Всё, что осталось.

— Как я сюда попал? — спросил он.

— Я тебя нашёл, — сказал Егор Михайлович. — В ельнике. Ты лежал.

— Далеко?

— Три версты.

Василий закрыл глаза. Три версты. Он нёс его три версты. На руках. Через лес.

— Спасибо, — сказал он снова.

Егор Михайлович не ответил. Он встал, подошёл к печи, открыл заслонку. Огонь был маленький, слабый. Он подбросил дров. Потом сказал, не оборачиваясь:

— Ты кричал. Во сне.

Василий не ответил.

— Про небо, — сказал Егор Михайлович. — Про мотор. Про то, что летишь.

Он закрыл заслонку. Повернулся.

— Не бойся, — сказал он. — Я никому не скажу.

Он взял ружьё, снял с гвоздя. Пошёл к двери. У порога остановился.

— Поесть — на столе. Вода — в ведре. Не вставай. Рука.

И вышел.

Василий остался один. Он лежал и смотрел в потолок. Слушал, как капает вода. Как трещит печь. Как где-то далеко, за лесом, гудит — не мотор. Просто ветер.

Он кричал. Во сне. Про небо.

Значит, он всё ещё помнит. Значит, это было. Значит, он не сошёл с ума.

Он закрыл глаза. И впервые за эти дни — не провалился. Просто лежал. И дышал. Мелко. Не глубоко. Терпимо.

Глава 4. Тишина

Он встал на девятнадцатый день.

Считал не он — Егор Михайлович. Каждое утро, уходя, он говорил: «Девятый», «Десятый», «Одиннадцатый». Василий не сразу понял, что это счёт. Потом понял: дни. Дни с того утра, когда он очнулся в ельнике.

На девятнадцатый он сел.

Это было трудно. Очень. Он оттолкнулся левой рукой — правая всё ещё висела на груди, прибинтованная, — подтянулся, закусил губу. Рёбра отозвались глухо, тянуще. Он сидел. Просто сидел. И мир качался перед глазами, как тогда, в небе, только медленнее.

Он посидел так. Потом спустил ноги на пол. Пол был холодный, дощатый, в щелях. Он поставил ступни. Ноги были чужие — тонкие, белые, как не его. Он смотрел на них и не узнавал.

Он попробовал встать.

Не вышло. Колени подкосились, он качнулся вперёд, схватился левой рукой за край кровати. Удержался. Сердце колотилось где-то в горле. В глазах темнело.

— Рано, — сказал от двери Егор Михайлович.

Василий не слышал, как он вошёл. Лесник стоял, прислонившись к косяку, с ведром в руке. Смотрел спокойно.

— Рано, — повторил он. — Через неделю.

— Я не могу, — сказал Василий. Голос был хриплый, злой. — Я не могу больше лежать. Егор Михайлович поставил ведро. Подошёл. Взял его под локоть — крепко, но не грубо. — Сядь.

Василий сел. Тяжело, как мешок.

— Лежи, — сказал Егор Михайлович. — Лежи. Ещё неделю.

— Неделю, — повторил Василий. — Ещё неделю.

Он лёг. Отвернулся к стене. Стена была из брёвен, тёмная, в смоле. Он смотрел на неё и молчал. Егор Михайлович не сказал больше ничего. Ушёл.

Он встал на двадцать шестой день.

Это было утро. Егор Михайлович ушёл ещё до света — за рыбой, на ручей. Василий остался один. Он лежал, смотрел в потолок. Потом сел. Потом спустил ноги. Потом — встал.

Сначала колени дрожали. Потом перестали. Он стоял. Просто стоял, держась за кровать. Пол был холодный, но он не чувствовал. Он стоял. И это было больше, чем победа. Это было — начало.

Он сделал шаг. Потом ещё. Потом ещё. До стола. Три шага. Он дошёл, опёрся о столешницу. Посмотрел на свои руки. Левая — тёмная, жилистая, держится за край. Правая — всё ещё в тряпке, прибинтована к груди. Он попробовал шевельнуть пальцами. Они не двигались. Но под тряпкой что-то отозвалось — глухо, далеко. Больно.

Он постоял. Потом пошёл обратно. Четыре шага. До кровати. Сел. И только тогда понял, что дышит тяжело, как после боя.

За окном было серо. Дождь. Ёлки мокрые. Он смотрел на них долго. Потом закрыл глаза.

В следующий раз он встал без страха.

Дни шли. Он не считал их — Егор Михайлович считал, но перестал говорить вслух. Василий просто знал: ещё один день. Ещё один. Он вставал каждое утро. Ходил по сторожке — от кровати до стола, от стола до печи, от печи до двери. Потом садился. Потом снова. Ноги крепили. Рёбра почти не болели. Рука всё ещё висела, но он уже чувствовал её — покалывание, тепло, зуд под тряпкой. Значит, живая.

На третий или четвёртый день этих хождений он вышел на крыльцо.

Это было утро. Светлое, но холодное. Лес стоял стеной — тёмный, мокрый, бесконечный. Пахло хвоей и сырой землёй. Где-то капало. Он стоял на крыльце босиком, в чужой рубахе, с перевязанной рукой, и смотрел.

Небо было серое. Низкое. Как тогда.

Он поднял голову. Посмотрел вверх. Просто посмотрел. Долго. В горле что-то сжалось. Он не знал, что это — тоска, боль, память. Или что-то другое. То самое. Тёплое. Детское.

Он поднял левую руку. Просто так. Вверх. Ладонью к небу. Как будто мог что-то там поймать. Как будто мог оттолкнуться.

Ничего.

Рука висела в воздухе. Пустая. Бесполезная. Он опустил её. Медленно. И вернулся в сторожку.

Егор Михайлович вернулся к вечеру. С рыбой. Мокрый, усталый. Он снял сапоги, повесил телогрейку на гвоздь. Сел. Посмотрел на Василия.

— Выходил, — сказал он.

Василий кивнул.

— Видел, — сказал Егор Михайлович. — С ручья.

Он достал из-за пазухи что-то. Свёрток. Развернул. Хлеб. Чёрный, тёмный, тяжёлый.

— В деревне был, — сказал он. — Поменял.

Василий смотрел на хлеб. Он не видел хлеба три недели. Только похлёбку, рыбу, грибы. Он взял кусок. Откусил. Хлеб был кислый, плотный, настоящий. Он жевал и молчал.

— Что там? — спросил он наконец.

Егор Михайлович не спросил, что он имеет в виду. Он понял сразу.

— Не знаю, — сказал он. — Я не спрашиваю.

Он отрезал себе кусок. Сел напротив. Жевал медленно.

— В деревне говорят разное, — сказал он. — Кто-то говорит, немцы под Смоленском. Кто-то — что дальше. Я не слушаю.

— Почему?

— Потому что не знаю, — сказал Егор Михайлович. — А врать не хочу.

Он доел хлеб. Отряхнул руки. Посмотрел на Василия.

— Ты не думай, — сказал он. — Ты лечись. Думать будешь, когда встанешь.

— Я уже встал.

— Встал, — сказал Егор Михайлович. — А толку.

Он встал, пошёл к печи. Василий смотрел на его спину — широкую, сутулую. И думал: почему он не спрашивает? Почему не спрашивает про войну, про полк, про то, что там, за лесом? Почему он просто — живёт?

Он не нашёл ответа. Но ответ был рядом. Просто он ещё не умел его видеть.

Ночью он не спал. Лежал, смотрел в потолок. Слушал, как дышит печь. Егор Михайлович спал на лавке, укрывшись тулупом. Он спал тихо, как зверь, — не храпел, не ворочался.

Василий думал о небе.

Не о войне. Не о полке. Не о Серёге. О небе. О том, как он летел. Тогда, в детстве, на печи. Тогда, в падении. Тело помнило. Он знал, что помнило. Оно не забыло. Оно просто — не хотело вспоминать.

Он поднял левую руку. В темноте. Просто так. Ладонью вверх. И держал. Долго. Потом опустил.

Засыпая, он подумал: завтра. Завтра он попробует снова. Не летать. Просто — вспомнить. Как это делается.

Он не знал, что «завтра» будет долгим. Что он будет пробовать ещё много раз. И ничего не выйдет. И только потом, когда всё сгорит, когда всё рухнет, — оно вернётся. Само.

Но это будет потом.

А пока — он просто лежал. В чужой сторожке, в чужом лесу. С перевязанной рукой. И слушал, как дышит печь.

Глава 5. Разговор

Он окреп к концу четвёртой недели.

Рука ещё висела на груди — Егор Михайлович не снимал повязку, говорил: «Рано». Но пальцы уже двигались. Василий сжимал их, разжимал, чувствовал каждый сустав. Больно, но живо. Больно, но — своё.

Он ходил уже не по сторожке. Выходил на крыльцо. Потом — дальше. До ручья. Тропа была узкая, в корнях, но он шёл. Медленно. С палкой. Но шёл.

Егор Михайлович не помогал. Не держал под руку, не подстраховывал. Просто шёл рядом — или не шёл. Уходил вперёд, возвращался, ждал у поворота. Как будто знал: если помогать — Василий не научится. Если не помогать — упадёт и встанет сам.

В тот день они сидели на крыльце. Вечер. Небо было чистое, редкое для этих мест. Звёзды. Василий смотрел вверх. Молча. Егор Михайлович чинил сеть — вязал, распускал, вязал заново. Пальцы у него были ловкие, старые, привычные.

Долго молчали.

Потом Егор Михайлович сказал:

— Я тебя когда нашёл — парашют рядом лежал.

Василий замер. Не повернулся. Смотрел в небо.

— Нераскрытый, — сказал Егор Михайлович. — Весь в комок. Стропы целые.

Он замолчал. Нить в его руках замерла.

— Я тогда подумал: не может быть. С такой высоты — и живой. Да ещё с парашютом, который не открылся.

Василий не отвечал. В горле было сухо.

— Я тебя не спрашивал, — сказал Егор Михайлович. — Потому что рано было. Ты в бреду был. Кричал. Про небо. Про то, что летишь.

Он отложил сеть. Посмотрел на Василия.

— Сейчас спрашиваю.

Василий долго молчал. Смотрел на звёзды. Потом сказал — тихо, хрипло:

— Я не знаю, как это.

Егор Михайлович не перебивал.

— Мотор заглох. Я выпрыгнул. Кольцо рвал — не открылся. Дёргал, дёргал... — Он сглотнул. — Земля близко. Я понял: всё. Даже если откроется — не успеет.

Он замолчал. Вспомнил. Земля, которая шла навстречу. Быстро. Слишком быстро.

— И тогда... — начал он. — Я не знаю, как сказать.

— Скажи как есть, — сказал Егор Михайлович.

— Я полетел, — сказал Василий. — Не упал. Полетел. Как тогда, в детстве. Я вспомнил — и полетел.

Он повернулся. Посмотрел на Егора. Ждал. Что тот скажет? Что это бред? Что он бредит до сих пор? Что так не бывает?

Егор Михайлович смотрел на него. Долго. Спокойно. Потом кивнул.

— Значит, полетел, — сказал он.

И всё. Ни удивления. Ни недоверия. Просто — «значит, полетел». Как будто это было самой обычной вещью на свете.

— Ты веришь? — спросил Василий.

— Я тебя в ельнике нашёл, — сказал Егор Михайлович. — С парашютом, который не открылся. Ты был живой. Весь переломанный, но живой. Если это не полёт — тогда я не знаю, что.

Он снова взял сеть. Начал вязать. Пальцы двигались ровно, спокойно.

— Я в Финскую видел разное, — сказал он. — Люди на морозе выживали, когда должны были умереть. Люди с того света возвращались. Не знаю, как. Не мне судить.

Он замолчал. Василий тоже молчал. Звёзды над лесом были яркие, чужие. Где-то далеко ухнула сова.

— Только одно, — сказал Егор Михайлович. — Это не просто так.

Василий посмотрел на него.

— Что?

— Дар, — сказал Егор Михайлович. — Это дар. А дар — не для того, чтобы им хвастаться. И не для того, чтобы его прятать.

Он посмотрел на Василия. Глаза светлые, спокойные.

— Война идёт, — сказал он. — Немцы прут. Ты лётчик. Ты сбил «юнкерс». А теперь ты можешь летать без мотора. Без парашюта.

Он отложил сеть. Встал. Посмотрел на небо — туда, куда смотрел Василий.

— Ты подумай, — сказал он. — Что это значит. Только не сейчас. Сейчас — спать.

Он ушёл в сторожку. Василий остался на крыльце. Один. Со звёздами. Со словами.

Дар. Не для того, чтобы хвастаться. Не для того, чтобы прятать.

Он поднял левую руку. Ладонью к небу. В темноте. И держал. Долго. Потом опустил.

Он не знал, как это делается. Но теперь он знал, что это было. И что это — правда

Глава 6. Крыша

Он начал прыгать на тридцать второй день.

Это была идея Егора Михайловича. Не Василия. Василий бы сам не додумался — или додумался бы, но позже, когда окрепнет. Егор Михайлович не стал ждать.

— С крыши, — сказал он как-то утром. — В сено.

Василий посмотрел на него. Потом на крышу сторожки. Низкая, вросшая в землю, в два ската. Невысоко. Метра три, может, четыре.

— Зачем?

— Затем, — сказал Егор Михайлович. — Ты в небе летал. А здесь — не можешь. Значит, надо вспомнить.

Он вышел во двор. Василий — за ним. На дворе стоял стог сена — прошлогодний, слежавшийся, но ещё мягкий. Егор Михайлович подошёл к нему, потрогал рукой.

— Вот сюда, — сказал он. — Прыгай. И вспоминай.

Василий посмотрел на крышу. Потом на сено. Потом на свои руки. Правая всё ещё была в повязке — Егор Михайлович снял её только вчера. Рука двигалась, но слабо. Пальцы слушались не до конца.

— Я не могу, — сказал он. — Я не знаю как.

— А тогда знал?

Василий не ответил.

— Тогда знал, — сказал Егор Михайлович. — Значит, и сейчас знаешь. Просто забыл.

Он пошёл к сторожке, приставил к стене лестницу — старую, из жердей. Кивнул:

— Лезь.

Василий полез.

Крыша была покатая, скользкая от мха. Он забрался на скат, сел, держась за конёк. Посмотрел вниз. Сено было далеко — или ему так казалось. Три метра. Может, четыре. Он падал с трёх километров. Но здесь, на крыше, ему было страшно. По-другому. Не как в небе. В небе не было времени думать. Здесь время было. И оно тянулось.

— Прыгай, — сказал Егор Михайлович снизу.

Василий смотрел вниз. На сено. На Егора. На свои руки, которые держались за конёк.

Он прыгнул.

Не полетел. Просто упал. Мешком, неуклюже, заваливаясь на бок. Сено смягчило удар, но не сильно. Он упал, перекатился, закашлялся — пыль, труха, что-то колючее в лицо.

— Ещё раз, — сказал Егор Михайлович.

Василий поднялся. Отряхнулся. Полез на крышу снова.

Второй раз — то же самое. Упал. Третий — упал. Четвёртый — упал. Пятый — упал.

Он злился. На себя. На крышу. На Егора Михайловича, который стоял и смотрел. Молча. Без осуждения, без жалости. Просто смотрел.

— Я не могу, — сказал Василий, сидя в сене. — Не получается.

— Ещё раз, — сказал Егор Михайлович.

— Сколько можно?

— Пока не получится.

Василий посмотрел на него. Зло. Устало. Но встал. И полез снова.

Он прыгал весь день. К вечеру всё тело болело — руки, ноги, спина. Сено не спасало. Он падал снова и снова, и каждый раз это было унижительно. Как будто он не лётчик, не офицер, не человек, который сбил «юнкерс». А просто — мешок. Который падает.

Егор Михайлович не сказал ни слова. Он сидел на чурбаке, строгал палку, смотрел. Иногда уходил. Возвращался. Приносил воду. Ставил рядом. Уходил снова.

На закате Василий слез с крыши в последний раз. Сел на землю. Прислонился к стене. Дышал тяжело.

— Не выходит, — сказал он.

— Не выходит, — согласился Егор Михайлович.

Он встал, подошёл, сел рядом. На землю. Рядом с ним. Так они сидели — два человека, старый и молодой, у стены сторожки.

— Я в Финскую, — сказал Егор Михайлович, — одного видел. Он на лыжах ходил так, что никто не мог. По лесу, по болоту, ночью. Я спрашивал: как? Он говорил: не знаю. Просто — иду. И всё.

Он помолчал.

— А потом его убили. И никто больше так не ходил. Потому что это был его дар. Не мой. Не твой. Его.

Он посмотрел на Василия.

— Ты не пытайся быть им. Ты будь собой. Ты не он. Ты — Исаев. Лётчик. Ты летал. Не ходил. Летал.

Василий молчал. Смотрел на сено, на крышу, на небо, которое темнело.

— Я не знаю, как это включается, — сказал он. — Тогда само. Я не думал. Просто — полетел.

— Вот и не думай, — сказал Егор Михайлович. — Завтра опять полезешь. И не будешь думать.

Он встал. Пошёл в сторожку. У порога обернулся.

— Только с крыши не в сено прыгай. С крыши — в небо.

И ушёл.

Василий остался сидеть. Один. У стены. Смотрел на небо — серое, в первых звёздах. И думал: с крыши — в небо. Как это? Как это — в небо, если небо везде? Если ты уже в небе? Если небо — это то, что вокруг, а не то, куда ты прыгаешь?

Он не знал. Но что-то в нём дрогнуло. Слабо, далеко. Как тогда, на печи. Как тогда, в падении.

Он встал. Пошёл в сторожку. Спать.

На следующий день он снова полез на крышу. И снова упал. И на следующий. И на следующий.

Он падал одиннадцать дней.

Ничего не получалось. Тело не помнило. Оно падало, как падают все — тяжело, мешком, вниз. И каждый раз, поднимаясь из сена, Василий чувствовал одно и то же: пустоту. Как будто что-то было — и выключилось. Как будто он стоял перед дверью, которую сам же запер, и не мог найти ключ.

Он злился. Молча. Не показывал. Но Егор Михайлович видел.

— Ничего, — сказал он однажды. — Дверь откроется. Не сейчас. Потом.

— Когда потом?

— Когда надо будет, — сказал Егор Михайлович. — Когда по-настоящему надо.

Василий не понял тогда. Он думал: надо — это сейчас. Надо — это когда я хочу. Надо — это когда я прыгаю с крыши и жду, что полечу.

Он не понимал, что «надо» — это когда под тобой горит земля. Когда нет выбора. Когда дверь открывается не потому, что ты стучишь, а потому, что с той стороны её выбивают.

Но это будет потом.

А пока — он падал. Каждый день. В сено. Из раза в раз.

И Егор Михайлович молчал. Смотрел. Ждал...

Глава 7. Тень

Егор Михайлович ушёл в деревню на рассвете.

Он уходил туда раз в неделю — за солью, за спичками, за хлебом, если меняли. Василий к этому привык. Привык к тому, что лесник исчезает утром и возвращается к вечеру. Мокрый, усталый, молчаливый. Иногда с пустыми руками. Иногда — с куском хлеба, с горстью соли, с чем-то ещё.

В тот день он вернулся раньше.

Василий был на крыльце. Сидел, чинил сеть — ту самую, которую Егор вязал в вечер разговора. Пальцы уже слушались, правая рука двигалась, хоть и слабо. Он учился делать что-то левой. Получалось плохо, но получалось.

Он услышал шаги. Быстрые. Не такие, как обычно. Егор Михайлович ходил по лесу медленно, тяжело, уверенно. А сейчас шёл быстро. Почти бежал.

Василий поднял голову.

Егор Михайлович вышел из-за ёлок. Мокрый — дождь, что ли? Нет, дождя не было. Просто мокрый. Потный. Лицо серое. Глаза — не такие, как всегда. Не спокойные. Другие.

Он подошёл к крыльцу. Остановился. Посмотрел на Василия. Молчал.

— Что? — спросил Василий.

Егор Михайлович снял ружьё. Прислонил к стене. Сел на ступеньку. Долго молчал. Смотрел в землю.

— В деревне, — сказал он наконец. — Немцы. И не только.

Василий ждал.

— Люди какие-то. Не солдаты. В чёрном. Форма чёрная. Не наша, не немецкая — ихняя, но другая. Знаки на рукавах. Руны.

Он замолчал. Смотрел в землю.

— Солдаты их слушают. Бегом бегают. Что скажут — то и делают. Офицеры перед ними навтыяжку. А эти — молодые, некоторые совсем пацаны, — ходят, как хозяева.

— Кто они?

— Не знаю, — сказал Егор Михайлович. — Но они не простые. Они не про войну спрашивают. Они про небо.

Василий замер. Сеть в его руках застыла.

— Кто-то видел, — сказал Егор Михайлович. — Из соседней деревни. Мужик. Он в лесу был. Видел, как ты над деревьями шёл. Без самолёта. Рассказал.

Он поднял голову. Посмотрел на Василия.

— Они ищут не лётчика. Они ищут то, что летает.

Василий сглотнул. В горле стало сухо.

— Кто они?

— Не знаю, — сказал Егор Михайлович. — Но они не простые. У них бумаги. С печатями. Они не про войну спрашивают. Они про небо.

Он замолчал. Потом добавил:

— И ещё. Они в ельнике были. Где я тебя нашёл.

Василий посмотрел на него.

— Нашли?

— Нашли, — сказал Егор Михайлович. — Кровь. Обрывки строп. Парашют. Тот, что не раскрылся.

Он помолчал.

— Они поняли. Что ты упал без купола. И выжил.

Василий молчал. Он смотрел на лес — тёмный, мокрый, бесконечный. Там, за этими ёлками, были люди, которые искали не лётчика. Они искали его. То, что в нём.

— Далеко до деревни? — спросил он.

— Четыре версты. Может, пять.

— А до нас?

Егор Михайлович не ответил сразу. Посмотрел в лес. Долго смотрел.

— Два дня, — сказал он. — Может, три. Если вглубь пойдут.

Он встал. Отряхнул колени. Пошёл в сторожку. У порога обернулся:

— Собираться надо.

— Что?

— Уходить, — сказал Егор Михайлович. — Тебе. Мне.

Он вошёл. Василий остался на крыльце. Один. Со словами. Со страхом, который пришёл откуда-то из глубины. Не за себя. За него. За этого старого, молчаливого, чужого человека, который стал своим.

Он вошёл в сторожку.

Егор Михайлович стоял у печи. Смотрел на огонь. Не двигался.

— Куда уходить? — спросил Василий.

— На восток, — сказал Егор Михайлович. — Через болото. Там тропа. Немцы не знают.

— А ты?

Егор Михайлович не ответил. Он смотрел в огонь. Долго. Потом сказал:

— Я останусь.

— Почему?

— Потому что я тут живу, — сказал Егор Михайлович. — Это мой дом.

Он повернулся. Посмотрел на Василия. Спокойно. Как всегда.

— Ты уйдёшь. Я тебя проведу. Тропу покажу. Дальше сам.

— Я не хочу.

— А кто тебя спрашивает? — сказал Егор Михайлович. — Ты лётчик. Ты воюешь. Я — нет. Я лесник. Моё дело — лес.

Он сказал это без злости. Просто. Как факт.

Василий молчал. Он хотел сказать: я не могу тебя оставить. Хотел сказать: ты меня спас. Хотел сказать: если придут — я буду драться. Вместе. Здесь.

Но он не сказал ничего. Потому что знал: Егор Михайлович прав. Он, Василий, — лётчик. Его место — там, где война. А тут — лес. Тут — дом. Тут — старик, который просто хочет дожить свою жизнь там, где родился.

Ночью Василий не спал.

Он лежал, смотрел в потолок. Слушал, как дышит печь. Как Егор Михайлович ворочается на лавке. Как где-то далеко, за лесом, что-то гудит. Может, ветер. Может, машины.

Он думал.

Он думал о том, что уйдёт. О том, что оставит этого человека здесь. Одного. С немцами, которые придут. С людьми в чёрном, которые ищут не лётчика, а его. Он думал о том, что не знает, как это — уходить. Что не умеет. Что всю жизнь он бежал только в небо. А теперь надо — по земле. Через болото. В неизвестность.

Он думал о даре.

Он не вспомнил его. Одиннадцать дней падений. Ничего. Дверь была заперта. Но сейчас, в темноте, он вдруг почувствовал: что-то дрогнуло. Не в теле. Внутри. Где-то глубоко. Как будто там, за дверью, кто-то услышал. Кто-то пошевелился.

Он поднял руку. Ладонью вверх. В темноте. Держал долго.

Ничего.

Он опустил руку. Закрыв глаза.

Завтра. Завтра он попробует ещё раз. С крыши. В небо.

Утром Егор Михайлович разбудил его рано. До света. На столе лежал хлеб — последний. И кружка воды.

— Ешь, — сказал Егор Михайлович. — Быстро.

Василий ел. Смотрел на него. Егор Михайлович собирался — не в дорогу. В сторожке. Что-то делал. Прятал.

— Ты чего?

— Немцы вчера в деревне, — сказал Егор Михайлович. — Сегодня будут здесь.

Он остановился. Посмотрел на Василия.

— Не уйдём. Не успеем.

Василий отложил хлеб.

— Тогда что?

— Тогда — учись, — сказал Егор Михайлович. — Сегодня. Сейчас.

Он вышел во двор. Василий — за ним. Небо только начинало сереть. Сено лежало под крышей — мокрое от росы. Егор Михайлович подошёл к стогу, потрогал.

— Лезь, — сказал он. — И не слезешь, пока не получится!

Глава 8. Небо

Он прыгал до полудня.

С крыши — в сено. С крыши — в сено. С крыши — в сено. Один раз. Второй. Пятый. Десятый. Он сбился со счёта. Тело болело. Руки дрожали. Сено было мокрое, тяжёлое, и каждый раз он падал в него, как в могилу.

Егор Михайлович не отходил. Он стоял внизу. Смотрел. Молчал. Иногда говорил: «Ещё». Иногда: «Не так». Один раз сказал:

— Ты думаешь, что падаешь. А ты летишь. Вот и всё.

Василий не понимал. Он злился. Он устал. Каждый раз, поднимаясь на крышу, он смотрел вниз — на сено, на Егора, на двор, — и чувствовал одно: пустоту. Дверь была заперта.

Он прыгнул в очередной раз. Упал. Сено хрустнуло, труха полетела в лицо. Он лежал на спине, смотрел в небо — серое, низкое, чужое, как тогда.

И вдруг — почувствовал.

Не понял. Просто — почувствовал. Что-то тёплое. Далеко. Как тогда, в детстве. Как тогда, в падении. Оно было где-то там. За дверью. И оно шевелилось.

Он встал. Отряхнулся. Полез на крышу снова.

Он прыгнул.

И — на секунду — не упал.

Это было мгновение. Меньше секунды. Может, полсекунды. Тело не полетело — но и не рухнуло мешком. Оно задержалось. Чуть-чуть. Совсем немного. Как будто воздух стал плотнее. Как будто что-то подхватило его — и отпустило.

Он упал в сено. Лежал. Смотрел в небо. Сердце колотилось.

— Ещё, — сказал Егор Михайлович.

Василий встал. Полез. Прыгнул.

И снова — задержка. Дольше. Может, секунда. Может, полторы. Тело слушалось. Не совсем. Но слушалось. Он падал, но падал медленнее. Плавнее. Как будто что-то внутри просыпалось. Медленно. С трудом. Но просыпалось.

— Ещё.

Он прыгал. И с каждым разом задержка была длиннее. Секунда. Две. Три. Он не летел. Но он уже не падал. Он — висел. На мгновение. В воздухе. Как будто мир на секунду останавливался, и он оставался в нём — один, лёгкий, свободный.

На десятом прыжке он пролетел над стогом. Не упал в него — пролетел. Метра три. Медленно, плавно, как перо. И приземлился на ноги — на краю сена, шатаясь, но на ноги.

Он стоял. Смотрел на свои руки. На Егора.

Егор Михайлович смотрел на него. Молчал. Долго. Потом сказал:

— Вот.

Василий хотел закричать. Хотел засмеяться. Хотел что-то сказать. Но не успел.

Со стороны дороги — далеко, но ясно — послышался звук. Треск. Рёв. Мотоциклы.

Егор Михайлович побледнел. Потом стал спокойным. Как всегда. Как будто ждал этого.

— В дом, — сказал он. — Быстро.

Они вошли в сторожку. Егор Михайлович захлопнул дверь. Подошёл к печи. Отодвинул заслонку, вытащил что-то — свёрток. Развернул. Ружьё. И патроны. Немного.

— Держи, — сказал он. — Но не стреляй. Пока не надо.

Василий взял ружьё. Тяжёлое, холодное. Он не знал, как им пользоваться. Он знал пулемёт, знал пушку. Но не ружьё.

— Куда мне?

Егор Михайлович посмотрел вверх.

— Чердак. Люк. Там лежи. Не дыши.

— А ты?

— А я — открою, — сказал Егор Михайлович. — Они не знают, что ты тут. Я скажу — один живу.

— Они не поверят.

— Поверят, — сказал Егор Михайлович. — Или нет. Но ты сиди. Понял? Что бы ни было — сиди.

Василий хотел возразить. Хотел сказать: я не буду прятаться. Хотел сказать: я буду драться. Но Егор Михайлович посмотрел на него. Так, как смотрел всегда. Спокойно. Твёрдо.

— Ты мне нужен живой, — сказал он. — Понял?

Василий кивнул.

Он поставил ружьё у печи — прислонил к стене, чтобы было под рукой. Потом залез на чердак. Люк закрылся. Темнота. Пыль. Пахло сеном и мышами. Он лёг на доски. Он смотрел в щель между досками. Вниз. В комнату.

Мотоциклы остановились у крыльца.

Дверь распахнулась. Вошли трое. Двое — в сером, с автоматами. Солдаты. Третий — в чёрном.

Он вошёл первым. Чёрный китель. Серебряные руны на воротнике. На лацкане — маленький значок, руна «Хагаль». Молодой. Лет тридцати. Спокойный. Глаза серые, внимательные. Как у человека, который привык смотреть и запоминать.

Он огляделся. Медленно. Как хозяин. Посмотрел на Егора Михайловича. Улыбнулся. Нехорошо.

— Лесник? — спросил он. По-русски. Чисто, почти без акцента.

— Лесник.

— Один живёшь?

— Один.

Человек в чёрном подошёл к столу. Посмотрел на кружку. На хлеб. На две ложки.

Он взял одну. Поднял. Посмотрел на свет.

— Две, — сказал он. — А говоришь — один.

Егор Михайлович молчал.

Человек в чёрном отложил ложку. Расстегнул китель. Достал из внутреннего кармана планшет. Открыл. Достал лист. Показал Егору.

На листе — рисунок. Человек в небе. Без самолёта. Без парашюта. Просто — человек. Летящий. Руки в стороны. Ноги вытянуты. Как птица. Как будто он не падал, а летел. По-настоящему.

— Это видели в ваших лесах, — сказал он. — Крестьянин. Из соседней деревни. Он не врёт. Мы проверяли.

Егор Михайлович смотрел на рисунок. Молчал.

— Где он? — спросил человек в чёрном. — Мы знаем, что он здесь. Мы нашли следы. В ельнике. Кровь. Обрывки строп. Парашют, который не раскрылся.

Он закрыл планшет. Посмотрел на Егора.

— Человек, который упал с неба без парашюта и выжил. Вы понимаете, что это значит?

Егор Михайлович не ответил.

— Это значит, — сказал человек в чёрном, — что он нам нужен. Не как военнопленный. Как объект.

Он кивнул солдатам.

— Ищите. Чердак. Подпол. Всё.

Солдаты начали обыскивать. Открыли шкаф. Перевернули лавку. Один пошёл к печи. Открыл заслонку. Заглянул.

— Ничего.

Человек в чёрном стоял у стола. Смотрел на Егора. Спокойно. Как учёный, который наблюдает опыт.

— Ещё раз спрашиваю, — сказал он. — Где он?

Егор Михайлович молчал.

Человек в чёрном поднял руку. Солдат остановился. Не ударил. Просто стоял. Ждал.

Человек в чёрном подошёл к Егору. Близко. Наклонился. Говорил тихо — так, чтобы слышал только Егор. И Василий на чердаке. Через щель.

— Меня зовут Штольц, — сказал он. — Курт Штольц. Я представляю организацию учёных великого рейха. Мы изучаем... необычные явления. То, что не вписывается в обычную науку.

Он помолчал. Посмотрел на Егора.

— Мы ищем человека. Лётчика. Он упал в этих лесах. Мы нашли следы. Кровь. Обрывки строп. Парашют, который не раскрылся.

Егор Михайлович молчал. Смотрел на него.

— Человек, который упал с неба без парашюта и выжил, — сказал Штольц. — Вы понимаете, что это значит?

Он выпрямился. Отошёл на шаг. Говорил ровно, спокойно. Как профессор на лекции.

— Это значит, что он — не обычный человек. И нам он нужен не как военнопленный. Как объект изучения.

Он замолчал. Посмотрел на Егора. Долго.

— Ему ничего не грозит. Наоборот. Мы обеспечим ему полную защиту. Любую помощь. Всё, что он захочет. Еда, одежда, лекарства. Условия для жизни. Он будет жить как... уникальный человек. Под нашей защитой.

Он помолчал.

— Вы можете помочь ему. Если вы скажете, где он, — вы спасёте ему жизнь. И себе. Мы уйдём. Никого не тронем. Ни вас, ни деревню. Всё будет тихо.

Он посмотрел Егору в глаза.

— Или вы можете молчать. Тогда мы найдём его сами. Но тогда — не обещаю. Солдаты устали. Война. Всякое бывает.

Он помолчал.

— Выбирайте. У вас есть время. Немного. Но есть.

Егор Михайлович смотрел на него. Долго. Потом сказал — тихо, хрипло:

— Не знаю я никакого лётчика.

Штольц вздохнул. Как будто услышал то, что ожидал. Кивнул солдату.

— Продолжайте.

Солдат ударил. Кулаком. В живот. Егор согнулся. Упал на колени. Закашлялся.

Василий на чердаке сжал кулаки. Руки дрожали. Он смотрел в щель. Видел, как Егор Михайлович стоит на коленях. Как солдат бьёт его снова. Как кровь на губе.

— Кто ещё? — спросил Штольц. — Где лётчик?

Егор Михайлович поднял голову. Посмотрел на него. Молчал.

Штольц кивнул. Солдат ударил снова. Сильнее. Егор упал. На бок. Тяжело. Он не встал.

— Ещё раз спрашиваю, — сказал Штольц. — Где лётчик?

Егор Михайлович лежал. Смотрел в потолок. В щель. Прямо на Василия. Он не мог его видеть. Но смотрел. Как будто знал, что тот там. Как будто говорил: сиди. Не смей.

Штольц достал пистолет. Навёл на Егора.

Василий не помнил, как встал.

Он не помнил, как откинул люк. Как прыгнул. Он помнил только одно: воздух. Он не падал. Он летел. Вниз. Быстро. Точно. Как тогда — над лесом. Как тогда — над полем. Он летел.

Он упал на солдата. Сверху. Всем телом. Они покатались по полу. Автомат выстрелил — в потолок, в доски, в пыль. Василий бил. Руками. Ногами. Головой. Он не думал. Он просто бил.

Краем глаза он видел: второй солдат вскинул автомат. Направил на него. Но не стрелял — боялся попасть в своего. Он кричал что-то. По-немецки. Зло. И шагнул ближе.

Штольц стоял у двери. Он видел всё.

Он видел, как человек упал с чердака. Не упал — полетел. Управляемо. Точно. Как хищная птица. Он видел, как тот ударил солдата. Как бил его. Как второй солдат целился и не мог выстрелить.

Он смотрел на человека, который бил солдата. И понимал: этот человек не сдастся. Никогда. Он будет драться до конца. Его можно только убить.

Убить — значит потерять объект. Самый ценный объект, который Штольц видел за всю свою жизнь. То, ради чего он приехал. То, ради чего существует Аненербе. Если он застрелит его сейчас, в этой сторожке, — всё будет кончено. Тайна умрёт вместе с ним.

Он не мог этого допустить.

Он посмотрел на Егора. Тот уже тянулся к ружью. Медленно. Тяжело. Но тянулся.

Штольц понял: сейчас будет выстрел. И ещё один. И кто-то умрёт.

Он отступил. В дверь. В темноту. Не побежал — пошёл. Быстро. Ровно. Как человек, который знает: это не конец. Это — начало.

Он ещё вернётся. С силой. С командой. С оружием, которое не убьёт, а остановит. И тогда — возьмёт его живым.

А пока — он должен выжить. И доложить. Чтобы всё, что он видел, не умерло вместе с ним.

И тогда Егор Михайлович — избитый, лежащий на полу — протянул руку. Медленно. Тяжело. Пальцы нащупали ружьё, прислонённое к печи. Он обхватил ствол. Подтянул к себе. Перехватил. Приподнялся на локте.

Второй солдат обернулся.

Егор выстрелил.

Один раз. В упор. Солдат отлетел к двери. Упал. Автомат грохнул об пол.

Тишина.

Василий лежал на первом солдате. Тот не двигался. Мёртвый. Или без сознания. Василий не смотрел. Он поднял голову.

Второй солдат лежал у двери. Не шевелился. Ружьё в руках Егора дымилось.

А Штольца — не было.

Дверь была открыта. Ветер шёл в комнату. На полу лежал планшет. Раскрытый. Лист с рисунком — человек в небе. И пустое место, где только что стоял тот, третий.

— Ушёл, — сказал Егор Михайлович.

Он выронил ружьё. Оно стукнуло о пол. Егор откинулся на спину. Тяжело. Задышал. Кровь на лице, на губе, на руках.

Василий поднялся. Посмотрел на дверь. На лес. Тёмный, мокрый, бесконечный.

— Он видел, — сказал Василий.

— Видел, — согласился Егор Михайлович.

Василий подошёл. Сел рядом. На пол. Возле него. Посмотрел на его лицо. На кровь. На руки, которые всё ещё сжимали воздух.

— Живой? — спросил Василий.

Егор Михайлович посмотрел на него. Долго. Потом сказал:

— Полетел.

Василий посмотрел на свои руки. На солдата. На кровь. На планшет. На рисунок. Он не помнил, как это сделал. Он помнил только воздух.

— Полетел, — сказал он.

Егор Михайлович закрыл глаза. Потом открыл. Улыбнулся — слабо, через боль.

— Значит, — сказал он, — не зря.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.